
Владимир АЛЕЙНИКОВ

ВСПОМНЮ И ВОСПОЮ*

...В Москве, возле Большого театра, где я шел в непонятном направлении, маясь от одиночества и не зная, куда мне податься, с кем увидеться, как провести этот день, а за ним и другие, потому что все дни тяжелы для души в невеселую пору, и придется все вынести мне, испытания все, и утраты, и крушение прежних надежд, и разрушенный быт, и обиды, и подняться из бед, и восстать, как и встарь, из упрямства, для жизни, для того, чтобы речь мне продлить, чтобы время дружило со мною, а пространство и впредь открывалось на пути моем к свету вдаль, чтоб звезда моя вновь надо мной разгоралась в юдоли земной, — он выскочил ко мне из такси, в котором сидели его жена Ревекка и дочь Доротея, — попрощаться.

— Володя! Володенька!

Я обернулся — на голос.

Машина с шашечками, притормозив, стояла у обочины тротуара.

Сквозь широкое заднее стекло виднелись два лица: грустное шемякинской жены и восторженно-веселое дочери. Они махали мне ладонями и что-то кричали. Но слов я не слышал. Мешал городской гул.

Дверца машины, резко, с силой открытая, еще раскачивалась из стороны в сторону.

По асфальту, едва успевая огибать прохожих, ко мне бежал Миша Шемякин.

Он почти летел — столько было в его движении устремленности вперед, бросавшейся в глаза неожиданной легкости, окрыленности.

Прямо с разгону он — чего никогда не бывало ранее — порывисто, несколько неуклюже, но искренне обнял меня:

— Володя! Как хорошо, что я увидел вас! Как я рад этой встрече, поверьте!

Слегка ошарашенный такой сентиментальностью, я сказал:

— Здравствуйте, Миша! И я вам рад.

— Вот и встретились. Хорошо, что встретились! — с явным волнением произнес Шемякин. — А то ведь...

— Что случилось, Миша? — спросил я.

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Даvida Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

* Продолжение. Начало: «Нева», 2021. № 5.

— Как? Вы разве не знаете? — удивился он. — Вы ничего не знаете?

— Ничего я не знаю.

— И никто не знает?

— О чем вы?

Он запнулся. Перевел дух. Вытер пот со лба.

Потом, какой-то весь, и я это лишь с некоторым запозданием разглядел, упрощенный, усредненный, что ли, снивелированный, ничем особым не выделяющийся, всем обlikом своим от прочих людей почти не отличающийся, уже без кожаного своего облачения, одетый подчеркнуто просто, на удивление скромно, словом, как все вокруг, со свободно распахнутым воротом белой скромной рубашки и в черных расклешенных брюках, в легких туфлях, этакий с виду вполне порядочный гражданин, хотя и такой же, как прежде, как всегда, как совсем недавно, в коммунальной питерской комнате, все равно колоритный, особенный, как залетный случайный гость — не с другой ли какой планеты? — все такой же, худой, очкастый и намеренно длинноволосый, он смущенно развел в стороны жилистыми, крепкими руками в бесчисленных, жутковатых, рваных, бугрящихся шрамах:

— Уезжаю...

Этого следовало ожидать.

Я сразу вспомнил, как еще в шестидесятых спросил его маленькую дочь, почему на мундире сделанной ей папой куклы-гвардейца не хватает пуговицы, и чудо-девочка, ни секунды не задумываясь, четко ответила:

— Это ему большевики в семнадцатом году оторвали!

Так что семейный настрой был и тогда вполне ясен.

Я вспомнил Шемякина во время нашей недавней встречи — и его присутствие-отсутствие в питерской комнате.

И спросил:

— Куда уезжаете?

— Во Францию, Володя, во Францию! — воскликнул Миша. — В город Париж. К родственникам жены.

— В добрый путь! — сказал я.

— Вначале уезжают жена с дочкой, — уточнил Миша. — А сам я поеду чуть позже. Есть у меня еще здесь кое-какие дела.

— Ну, что же! Удачи вам, Миша. Всем вам желаю удачи, — сказал я. — А вам, Миша, — особенно.

— Спасибо, Володя, спасибо! — воскликнул Шемякин.

Шофер машины засигналил. Высунувшись наружу, Ревекка с Доротеей закричали, одна за другой:

— Миша, поскорее! Мы опаздываем!

— Папа! Едем! Пора!

Шемякин вздохнул:

— Ну вот... Значит, и вправду пора.

— Поезжайте, Миша! — сказал я. — Все у вас будет хорошо. Вот увидите.

— Вы действительно так думаете?

— Да, так я считаю.

— Спасибо, Володя. Ваши слова всегда для меня важны.

— Буду вспоминать вас, Миша.

— Я напишу вам, Володя!

— Напишите. Буду ждать письма.

Ревекка с Доротеей опять закричали по очереди:

- Миша, Миша, пора!
 - Папа, папа, поехали!
 - Надо ехать, — сказал Шемякин.
 - Поезжайте, Миша. Вас ждут.
 - Передайте привет от меня всем, кого не успел увидеть.
 - Обязательно передам.
 - Ну, счастливо.
 - И вам счастливо.
 - Мы увидимся?
 - Я надеюсь.
 - Не прощаюсь.
 - И я не прощаюсь.
 - До свидания?
 - До свидания.
 - Надо ехать уже. Пора.
 - До свидания, Миша. С Богом!
- И Шемякин метнулся к машине.
И машина рванулась с места.
И остался я здесь, в Москве.
А куда мне было деваться?

...Доносились потом до меня отрывочные божественные сведения о предотъездных Мишиных, с некоторыми неганданными приключениями и пустяковыми происшествиями, хлопотах.

Но ежели таковые поневоле и случились, то были они, при всей их бредовой пестроты и подперченной суровой по отношению к инакомыслящим субъектам отечественной реальностью неминуемой остроте, кратковременными и малозначительными для него.

Кроме одного, пожалуй, случая.

Тут советская власть Мишу, что называется, почти достала.

Имелся у него билет. На самолет.

Но Миша-то намеревался увезти с собой и любимую свою собаку. Какой была она породы, я уже забыл. Да это и не столь важно.

Куда важнее оказался для покидающего родную страну художника тот очевидный и непреложный факт, что за собаку следовало заплатить.

И немалую сумму. Кругленькую.

А денег-то больше не было.

Что делать?

Но выход нашелся.

Шемякин спешно созвонился с кем-то из своих многочисленных московских знакомых, вкратце пояснил, в чем дело, и предложил вручить ему нужную сумму, в обмен на одну из своих картин, которую этот знакомый москвич, если он выручит попавшего в трудное положение отъезжающего художника, легко может получить здесь же, в столице, в конкретном месте, у конкретных людей, в любое время, а хоть и прямо сейчас, причем, как он не преминул подчеркнуть, стоимость шемякинской картины была, уж само собою, неизмеримо выше стоимости выкупа за шемякинскую собаку.

Мишин знакомый тут же выразил готовность помочь художнику, встретился с ним и вручил ему деньги. Соблазн заполучить дорогостоящую картину был столь велик, что этот благодетель, наскоро попрощавшись с Мишей, сразу же помчался туда, где находилась желанная вещь. Получил ли он ее в собственность, как мечтал, — увы, неизвестно.

Шемякин же заплатил куда полагается за свою собаку — и таким образом на законном основании заполучил для нее место в самолете.

Жена и дочка находились уже за границей. Почти в раю. Во всяком случае, в краю всеобщего процветания и стабильного благополучия.

А он, глава семейства, все еще был отделен от них железным незримым занавесом, который следовало вскорости, как всего лишь одно из препятствий на дороге к всемирной славе, вскоре преодолеть

Одному, как ни крути, даже с билетом за пределы Союза в кармане все-таки неудобно и, надо признаться, тошно. И выпить нельзя. Иначе — запой. И мало ли что еще!

А тут — хоть одна живая душа рядом. Понимающая душа. Такая, что без всяких лишних слов тебя понимает. И принимает тебя таким, каков ты есть. С неизменной любовью. Да вдобавок она еще и по-настоящему предана тебе. Верна, как никто другой.

За это любую сумму, какой бы она ни была, как миленький, выложишь. Еще и доплатишь. Сам. Без подсказок. Без принуждения. По широте натуры. По доброте своей. По любви к нашим братьям меньшим.

Совершенно все, что связывало его с покидаемой им страной, было разорвано, разрушено, брошено.

Пусть так. Но — не предано.

Это Миша знал твердо. И был за это спокоен.

Совесть и честь — пусть это и громко звучит — оставались при нем. Так уж был он устроен.

Впереди его ждал — Париж.

А потом поведет — судьба.

И вот Шемякин уехал, прихватив с собой и собаку.

Наверное, чтобы ничего большевикам не оставлять...

Бродский отбыл в эмиграцию незадолго до моего приезда. Тень его еще витала поблизости. Она, похоже, и не думала никуда уезжать.

Странное раздвоение произошло.

Сам поэт — за границей. То есть — вдали от родины. Далеко, совсем далеко. Так далеко, что и представить-то до сих пор трудновато. За границей — значит, за кордоном. За железным пресловутым занавесом, о котором столько всеми, кому не лень, было говорено, что грубоватая метафора эта, ранее, может быть, еще кое-как и претендовавшая на зримость, на странную осязаемость этого советского понятия, на его навязанное пропагандой присутствие в общем нашем сознании, постепенно, с годами, по истечении десятилетий, и особенно по причине изрядного прояснения общенародного сознания, превратилась в условность, в рядовой штамп, в нечто из канцелярщины, из приевшейся всем ходульной бредятины и уже никого не впечатляла. Ну, пусть некая черта. Условная — но и реальная. Охраняемая, конечно. Четко разделяющая: их, заграничных людей, мир — и наш, людей, считавшихся советскими, привычный, увы, мир. Грань. И за нею — иная, с другими законами и реалиями бытия, жизнь. Но какая она — воочию? Об этом знали немного. Больше об этом — гадали. Воображали себе эту жизнь. По идее, сулила она человеку большие возможности. Воображение — это как раз то, что и отличает граждан отечества нашего от граждан всех прочих стран. Граждане отечества, с их развитым воображением, оставались на месте. Бродский же — перешагнул черту. Пересек охраняемую властями границу. Преодолеl грань.

Тень его, вместе со всем, что написано было им, да еще и со слухами, с молвой, с грузом хорошо всем известного и недосказанного, явного и тайного, всякого, что всегда сопутствует легенде, — здесь, в Питере, и ей, судя по всему, здесь, на родине, хорошо, здесь ее место в мире, здесь ее почва, и дух, и свет, и путь, все именно здесь, так, зна-

чит, и следует и в будущем присутствовать здесь, жить здесь, — да так ведь и было, и что там какая-то граница, если главное — здесь.

Подробности отъезда стали темой бесчисленных разговоров.

— Ах, а вы знаете?

— Ох, а вы слышали?

— Нет, вы подумайте!

— Это надо же!

Толки, сплетни, байки, догадки.

Все смешалось. Но все годилось для того, чтоб о нем говорить.

Поэт Олег Охупкин, волнуясь и страдая из-за горького понимания им советской чудовишной несправедливости по отношению к некоторым достойным, но гонимым и всячески третируемым художникам слова, с придыханием, со слезой в голосе, рассказывал мне, как провожали Иосифа в эмиграцию, и в аэропорту кагэбэшники и таможенники буквально издевались над ним, и не разрешили ему собственные рукописи его с собой увезти, и пытались отобрать чемоданы с бумагами, и пришлось друзьям проявлять героизм и бумаги эти спасти, и в довершение всего еще и сорвали с поэта золотой крест, заявив, что это, мол, контрабанда, и видеть все это было так невыносимо тяжело, что тут поневоле напьешься с тоски и от невозможности хоть что-нибудь поправить, и все отдавало безумием, да, именно, все было не просто странным или абсурдным, но таким откровенно трагическим, что он, Охупкин, почувствовал, похолодев от ужаса, что какая-то незримая, но оттого и еще более отчетливая, резкая, такая, что дальше некуда, черта, грань прошла между провожавшими и прощавшимся с ними поэтом, и ясно всем было, что это надолго, возможно, и навсегда, и Бродский был уже там, за проведенной судьбою этой чертой, за гранью, и, еще находясь вот здесь, в Питере, был уже где-то там, за пределами досягаемости, был оторван от всех, отделен от всех остальных, и шел к самолету, взвинченный, бледный, растерянный, но уже и полный решимости к действию, вышедший в свой путь, и высоко поднимал рыжеволосую голову, и оглядывался на друзей, и взмахивал рукой, и снова шагал вперед, и все отдалялся, отдалялся, покуда не взмыл самолет ввысь, и белесое, вдруг раскрывшее свою темную глубину, увеличившееся, казалось, небо, всю выпуклой сферой своею не приняло в себя ставший там, в отдалении, в отрешении от земли, маленьким, скошенным, чуть поблескивающим крестиком, исчезающий из поля зрения самолет, а с ним и поэта, вместе с начавшимся для него совершенно другим временем, и пространство, с которым бессмысленно счеты сводить, не сомкнулось за ним.

Один архитектор, имя которого я, к сожалению, забыл, поведал мне однажды, как Бродский, у которого возникли сложности в отношениях с родителями, перед своим отъездом некоторое время жил у него — и неожиданно раскрылся перед ним, по-человечески, глубоко и светло, и насколько было это необычно, и приятно, и радостно, и как было грустно понимать, что расставание все равно неминуемо, что доверительные беседы — редкость, но беседы беседами, и человек человеком, а прощаться вскоре придется, и уже не будет ни вынужденных ночевок в таком вот чемоданном настроении, ни ночных монологов, ни утренних чаепитий, ни дневных разговоров о том да о сем, ни вечерних откровений за вином, ни усталых, бессонных глаз, ни картавого, с торопливым захлебом, голоса, ни парадоксов мышления, ни иронии, ни эрудиции, ни всего притягательного, многогранного, сложного все-таки облика вымотанного напряжением всех нахлынувших оптом дней и ночей перед тем, как покинуть Питер, но проявлявшего твердость духа, изо всех возможных сил державшегося поэта, и останутся здесь лишь стихи его, то есть речь и путь, и в стихах этих — образ его.

Немало пришлось мне услышать различных историй об этом — от самых разных, друг с другом порой незнакомых людей.

Лишь одно было общим, единым для всех во всей этой разногосице: Бродский уехал — и что-то с ним вместе ушло. Что-то — оборвалось. Не эпоха, конечно. Полоса в жизни питерцев? Да, наверное. Период. И теперь надо было как-то жить — уже без него.

И одно лишь всех утешало: тень его, дух его — были здесь. И это — уже немало. И на том спасибо судьбе. Было — дело. И нет его. Пусть живет — и подольше — слово.

Сочинения его изыскивались по домам, собирались воедино и усердно перепечатывались. Помню стрекот машинок по квартирам, шелест бумажный. Собираение: что у кого есть? Попытки систематизации всех писаний. Поиски. Радости:

- Ах, нашлось!
- Читали?
- Ну, то-то же!
- Так скорее — перепечатать!

Питерская пишущая братия привыкала жить без своего первого поэта.

Стояла чудовищная жара.

Такой дичайшей жары не припоминали что-то даже старожилы. Она действительно вытягивала все жилы. Изматывала. Измывалась над людьми. Особенно — над горожанами. Сельским жителям, вполне возможно, было и полегче. Но расспрашивать их и узнавать, как они там, у себя, в своих деревнях, себя сейчас чувствуют, никому и в голову не приходило. Да и просто некогда было заниматься такими вот странно-ватыми, право, делами. Срочно надо было всем — просто выживать. Именно так. Потому что вопрос был нешуточным, и стоял особенно остро, и читался в глазах у всех: выживание. Надо было всем в округе, срочно, спастись. Кто как может. Как уж получится. Жить хотелось всем поголовно. Жить. Дышать. По возможности — глубже. И не спертым, отравленным воздухом, а чистейшим. Озоном. Но это были просто мечты. И дышали — жаром, варом, паром сплошным.

Где-то в лесах горели торфяники.

Это значило, что пожары — надолго. Дымная пелена застилала горизонт. В воздухе ощущался запах гари. Втихаря проникал он в город, а потом, освоившись здесь, внедрившись и в густую застройку петровского града, и в людское сознание, начинал доводить до истерик, изводить решительно всех, и его присутствие, вкрадчивое, воровское, блатное, бандитское, всех пугающее, томящее непредвиденностью событий, непреложностью страшной угрозы, той кошмарной неопределенностью, хуже которой и быть ничего не может, абсурдом, войной, осадой, ни больше ни меньше, а то и чем-то похуже, стало бедствием, нет, наваждением, но к нему, как ни странно, потом, постепенно, не сразу, привыкли.

Возле Петропавловской крепости, на пляже, горожане торопливо раздевались и плюхались в невскую воду.

Отдавала вода — болотом. Слишком теплой она была, чтоб спасти от жары. Так, подобье прохлады. Больше — воображение. Но и это многих устраивало. Влага все-таки. Жить веселее и спокойнее, коли рядом есть вода. Так скорее — в нее! Бултыхались в реку тела измочаленных горожан. Принимала река — всех разом, дружелюбна, любвеобильна, принимала — в лоно свое. Что ей стоны во время оно! Вся раскинувшись, как матрона, услаждала всех. Плеск. Восторги. Благодарны ей были — все. Влага все-таки. Жизнь. Движенье. И — сплошное воображенье. За которым — преображенье мнилось многим. Удачи им! Жизнь — река. Над рекою — град. Летний сад. И — кремешный ад.

Асфальт плавился под ногами.

Достаточно было на минуту буквально задержаться на месте, как ты уже чувствовал, что ноги твои погружаются в нечто вязкое, жаркое, то, что внизу, под тобою, и что называется вроде асфальтом, но уже на него не похоже, а похоже, скорей, на болото, на трясины, в которой увязнуть очень просто можно, причем — основательно, и тогда героически ты пытался вырваться из странного плена, городского донельзя, асфальтового, но и вроде болотного, питерского, и когда наконец вырывался, то тебя впереди ожидала повсеместная, летняя, вязкая, городская трясины питерская, но идти все равно приходилось, по асфальту — так по асфальту, по трясины — так по трясины, и не все ли равно, по какой, под ногами расплывшейся, почве, или, может, по тротуару, если жизнь и так нелегка, если нынешним летом так жарко, если только и остается, что идти да идти вперед, — вот и шел ты в пространстве странном, через лето, сквозь жар, сквозь время, шел сквозь год, ставший новой гранью, за которой начнется речь, для которой важно вниманье, а потом уж и пониманье, вот и брел ты сквозь все страданья, чтобы новых дожждаться встреч.

Все только и делали, что пили — газировку, минералку, воду из-под крана, лимонад, квас, пиво.

Хорошо, когда что-нибудь пузырится — в стакане, в бокале, в бутылке. Не кипит, а шипит. Плещется. Влага все-таки. Жизнь. Пузырьки. И рекой лилось разлитой то питье, до которого вдруг дорывались. Подобье реки. Бред какой-то. Воображенье. К заведеньям питейным движенье. В них — голов и стаканов круженье, в кружках медленное броженье. Пена. Плеск. От жары отторженье. Лимонад. Газировка. Квас. Что еще никого не спас. Пиво. Тоже не выход. Просто — из-под крана — глоток воды. В нем — спасение от беды. Жизнь. Питье. Какие труды! Пить. Пить. Пить. Не «проснись и пой», а «проснись и пей». Над толпой — плеск воды. Журчанье воды. На асфальте — людские следы: все туда, к пивному ларьку, к бочке с квасом. Вмятины жаркие. Застывать не хотят. Как в пустыне, клич ли, крик ли, шепот ли, стон ли повсеместный, всемирный: пить!

Жажду эти напитки почти не утоляли.

Они ее — чуть отдаляли. А потом — приближали. Неумолимо. Жестоко. Они ее — обрушивали на людей. Выливали — пивом и квасом, лимонадом и газировкой, водопроводной водой. Жажда не единожды давалась. Дважды, трижды, да и только, не переживалась. Жажда — многожды приходила. Жажда — властвовала над людьми. Но и к ней привыкали. Ко всему привыкают люди. И тем более — питерцы. Вот и я привык. Вместе с ними. Притерпелся. Не брал в расчет. И почти позабыл о ней. Ничего. Переждем. Продержимся. Так повсюду тогда рассуждали. Жажду — миром всем — переживали.

Подъезды и телефонные будки пропахли мочой — не хватало общественных туалетов.

Привыкали и к этому запаху. А куда деваться прикажете, если вдруг приспичит? Конечно, заскочить в телефонную будку. Забежать впопыхах в подъезд. Рассуждали примерно так. О дворах и о всяческих закутках, в изобилии в этом городе имеющих, и не говорю: там стояла такая вонь, что не спас бы и противогаз. Вот они, последствия жажды и жары! Вселенское: пить! И конкретное, питерское: а потом как быть? Ничего. Находили выход. Или — вход. В подъезд. Или в будку. Повезет порой — так во двор. Не до роскоши. Быть бы живу. Отдышаться — и снова пить.

Душно было в квартирах.

Далеко не у всех петербуржцев квартиры имелись отдельные, собственные. Изрядная часть богемной публики обитала в коммуналках. Там давно сложились традиции, собственные, коммунальные. Там если и не царствовал, то вполне уютно себя чувствовал — быт, именно так, тот самый, советский, который с такой силой выразили, показав подлинное лицо его и даже, скорее, личину, Зощенко, в своей прозе, и Заболоцкий, в «Столбцах». В коммуналках проходили не месяцы и не годы. Там порой проходила целая жизнь.

Однажды в сквере я разговорился с весьма пожилым человеком. Он сказал мне:

— Мы, коренные петербуржцы, встречаемся давно уже только в бане. Там и общаемся. А жизнь наша проходит в коммуналках.

Но в нынешнюю жару не имело уже особого значения, где живет человек — в своей ли, отдельной квартире или в коммунальной, с соседями, порою с невероятным количеством этих соседей, со всеми их причудами, капризами, вывертами, хамством, стукачеством и прочими порождениями системы. Везде было душно. Везде тяжело дышалось. И уж тем более — на чердаках, где кое у кого были мастерские. И даже в подвалах, тоже приспособленных под мастерские, где вроде бы должна была присутствовать прохлада. Нет, жара проникала повсюду. Ощущалась она везде.

Настежь отворенные окна не спасали положения: вместо свежего воздуха в них вползал студенистый жар.

Ну, оставишь окно открытым на ночь. И что? И ночью было не просто тепло, но именно жарко. Надежды на сквознячок, на легкий, освежающий ветерок почти ни у кого не оставалось. Вентиляторы? Тоже не выход. Одно только всех и держало на плаву, если так можно выразиться, — терпение. Верно. Именно на плаву. Горожане плыли в жаре, как всплывшие на поверхность рыбы, с выпученными глазами и подергивающимися жабрами. Понятия смещались. Фантасмагоричность происходящего стала просто реальностью и даже обыденностью и давно уже никого не удивляла.

Осоловелые петербуржцы мечтали вырваться за город, на залив.

Но и мелководный залив не освежал. Кое-кто выезжал на дачу. Но и там, среди сосен, первым делом бросался в глаза раскаленный, воспаленно горячий песок. И достаточно было просто оглянуться вокруг, чтобы сразу же увидеть все приметы жары, все ее проявления, хоть и загородные, но схожие с городскими.

Тоннами поедалось мороженое.

Дети, само собою, а с ними и взрослые только и делали, что покупали очередную порцию и впивались губами в кусочек желанной прохлады. Но мороженое быстро таяло, прямо в руках, и не успевали съесть его, как от приятного ощущения чего-то холодного, зимнего, со льдом, со снежком, оставалось лишь воспоминание. По тротуарам растекались мутновато-белые, липкие потеки — от растаявшего мороженого, высыхали на солнце, испарялись, и вскоре от них и следа не оставалось.

К пивным ларькам выстраивались длинные, терпеливые очереди: в пиве была иллюзия желанной прохлады и толика хмеля.

В Питере оказалось так много этих заведений, да вдобавок еще и всяких пивных, не на улице, а в закрытых помещениях, что я поначалу даже удивлялся: не сравнить с Москвой, вон как здесь все налажено. Через несколько дней мне казалось уже, что ларьков маловато. Причина была одна — для всех — постоянная жажда. Питерское пиво на вкус отличалось от московского. Другая вода. А это для пива куда как важно.

Помню, отец мне рассказывал, как в Кривом Роге, давно еще, один немец-пивовар, большой специалист в своем деле, обнаружил место с чудесной родниковой водой и построил там свой пивоваренный заводик, — так вкус у пива такой оказался, что к немцу со всей округи съезжались любители настоящего пива, только бы именно здесь еще разок насладиться вкусом напитка и пополнить свои запасы.

Питерское пиво крепости почти не имело, казалось каким-то хлипким, разжиженным, и вкус у него был болотисто-пресным, отдавал мелководьем, озерным затишьем, речной застоявшейся цвелью, чем-то чухонским, лесным, чуждою, мшистою глушью, тиной, бобровой запрудой, тихим присутствием прели, да мало ли чем еще, — но об этом не думали, этого не замечали, — просто пили, поскольку для этого создано пиво, просто жажду свою утоляли, да и все. Что еще тут сказать?

Костя Кузьминский, тощий, лохматый, с развевающейся бородой, в кожаных штанах, в сандалиях «Скорород» на босу ногу, в расстегнутой рубашке, с огромным крестообразным шрамом на голом животе, стуча по тротуару внушительным посохом, подходил к пивной очереди — и, ни говоря ни слова, выразительно смотрел на мужиков.

Те видели жуткий шрам на Костином теле — и молча расступались. Причем раздвигались они в обе стороны как-то сразу же, не сговариваясь, и во взглядах их читалась почтительность, и стояли они двумя длинными шеренгами, словно встречали короля некоей диковинной страны или, и вот это скорее всего, человека, по их представлениям, заслуженного, этакого героя, бойца, ветерана всяческих битв, которого следовало всенепременно уважить, сделать ему приятное, оказать знаки внимания, и вот они стояли по левую и по правую руку от Кости, а он преспокойно, с достоинством, отчасти торжественно, проходил посередине, в разъявшемся пространстве, к своей цели — к пиву, и не хватало ковровой дорожки еще, да приветственных восклицаний, да рапорта от старшего, о том, что все собравшиеся здесь приветствуют прибывшего сюда, к ним, почтенного гостя, и все было в полном порядке, что и требовалось, в очередной раз.

Кузьминский брал пиво без очереди. Всегда. Привычно. В любом районе города. В любой пивнушке. В любом ларьке. Для него это было чем-то само собой разумеющимся. За внешность из шестнадцатого века, за сходство, пусть и отдаленное, с государем Иваном Грозным, за колоритность, за непохожесть на всех остальных, за самобытность, оригинальность — его привечали. За ум и юмор — его ценили. За шрам — его уважали.

Опираясь на посох, с кружкой в руке, пристраивался он в сторонке. Никогда он не брал лишнего пива. Знал меру. Не перебарщивал. Кружечка, чтобы освежиться немного, вот и достаточно. Ведь пивнушек в Питере множество, а Кузьминский — один. И этим все уже сказано. И зарываться нечего. Надо и честь знать. Питерский человек, он это прекрасно понимал. И те, кто его пропускали к пиву, тоже были питерскими. Отсюда и взаимопонимание, пусть и не высказанное вслух, но явное. Отсюда и взаимоуважение, тоже подспудное, но осознаваемое обеими сторонами — и Костей, и тем человеческим, тоже ведь жаждущим пива, множеством, которое всегда шло ему навстречу и безропотно пропускало к источнику пенной влаги.

Блаженно жмурясь, отпивал он глоток за глотком. За ним наблюдали. Неторопливость его, рассудительное отношение к напитку, отсутствие примитивной жадности к пиву, как-никак, но содержащему, помимо воды и пены, скромную дозу неких градусов, одобряли. Костя осушал свою кружку. Потом изрекал:

— Спасибо, православные!

Православные дружелюбно кивали ему: чего уж, мол, там, какие могут быть счеты, и кто там раньше добрался до пива, кто чуть позже, не все ли равно, а ты, мил человек,

выпил свою скромную кружечку, вот и лады, и все довольны, и все в полном порядке, в ажуре, удачи тебе, будь здоров, до встречи, вполне возможной, не здесь, так в другом подобном, пивном, выпивонном месте, а нет, ну что ж, все бывает, и, значит, иди себе с Богом.

Костя кивал всей очереди, потряхивая бороною. Расправлял свою голую грудь, чуть пониже которой белел рваный, ужасный шрам. И шел дальше, пошаркивая сандалиями по асфальту и опираясь на посох.

Кузьминский обладал феноменальной памятью.

Все, хотя бы раз им прочитанное, запоминал он навсегда.

При мне, в ходе неторопливой дружеской пирушки, сопровождавшейся чтением стихов и всегдашними рассуждениями об искусстве, подготовил он ко вступительному экзамену по истории приехавшего поступать в институт родственника.

Тот, молоденький провинциал, совершенно обалдевший и от честной компании, представленной колоритнейшими личностями, с их повадками, разговорами, ненавроком, так, между делом, обнаруживаемыми знаниями, с их завидной способностью пить любые спиртные напитки и не очень при этом пьянеть, и от Костиной эрудиции, некоторая часть которой этак плавно, неторопливо, ненавязчиво вроде бы, но при этом и целенаправленно, с толком, так, чтоб это осталось в сознании, чтоб усвоилось гостем, взволнованным, пораженным всем тем, что впервые воочию видел и слышал он здесь, перетекала прямо в голову парню, как при гипнозе каком-то особенном, действенном, верном, совершенно невыспавшийся, да просто неспавший, глаз ни на миг не сомкнувший, наутро, с трудом очухавшись, кое-как, поскорее собравшись, отправился сдавать экзамен — и сдал хорошо, и поступил в институт, но так и не мог понять, откуда в нужный момент взялись у него знания, которых не было раньше, и куда же они потом, сразу после экзамена, только лишь возвратился назад он, девались, — на что Кузьминский лукаво, но по-доброму шурился и таинственно улыбался.

Память Костина хранила множество дат, имен, фактов, прорву стихов за все время существования русской поэзии, все без исключения писания питерского авангарда, все, что различными путями приходило к нему из Москвы, из провинции, порою из самых дремучих углов, свежайшие литературные новости, невероятнейшие истории, бородатые и новехонькие анекдоты, петербургские легенды, всяческие заслуживающие внимания случаи из жизни друзей и знакомых, историю живописи, литературоведческие открытия, книжные премудрости, философские системы, фольклор, житейские байки и прочее, что там надолго осело.

Шутя, играючи, извлекал он при надобности из этой бездонной кладовой то, что ему требовалось в данный момент. А такой момент всегда находился. И тогда стоило только Косте открыть рот и заговорить, как сразу же начинались чудеса, и его гости, очередные его слушатели, внимали ему с изумлением и с почтением, потому что ничего подобного ранее сроду они не слыхивали. Ну а сам Костя был вовсе не в ударе. Был он просто — в своей тарелке. Он — вещал, сообщал, рассказывал. Он приобщал знакомых своих к тому, что составляло мир его, не просто своеобразный или же многообразный, но — густозаселенный и даже перенаселенный разного рода сведениями. Обычно таких людей называют ходячей энциклопедией. Костя и был такой вот энциклопедией. Ходячей. Бородатой. С огоньком в сощуренных светлых глазах. С крестообразным шрамом на животе. С посохом. Путешественником — среди знаний. И во времени. И в пространстве. Том, что позже его увело — почему-то в Америку. А зачем — непонятно. Потому что без Кости и Питер не Питер. До сих пор. Для меня. Для других, наверное, тоже. Костя — питерский человек. Дух такой. Петербургский. Доб-

рый. Образованный. Умный. С посохом. Что же двинул он, яко посуху, не куда-нибудь в европейскую, помилее, страну, с традициями, а подальше, за океан? Впрочем, там он — все тот же дух. Для него и в Нью-Йорке — Питер. Он везде — на месте. Везде, где бы ни был он, — сам по себе. И, глядишь, поумнеет Америка, если Костю хоть раз послушает. Сдаст экзамены — на человечность. Может, с дружбой придет? Действуй, дух!

Несколько лет назад заполучив и прочитав мои ранние книги «Лето 65» и «Путешествия памяти Рембо», он запомнил их наизусть — и охотно демонстрировал мне это. Начинать читать вслух какое-нибудь стихотворение — и не останавливался до тех пор, покуда не прочитает весь цикл, а то и целую книгу. Ему интересно было — звучание моих стихов, их фонетика, лад, полифоничность, их непохожесть на то, что писалось другими. Его увлекала и завораживала их новизна. И он наслаждался стихами, как гурман. Он, читая их, жил в них. Поразительное вживание, вхождение в материал! И лицо его преображалось. Он как-то по-своему, протяжно, восторженно, выпевал строки, растягивал слова, играл каждым звуком, их переливами, соединениями. Мне слушать его было даже полезно. Слово на другом, на своем собственном инструменте он играл, читая стихи, словно в другой тональности это звучало. Но при всей любви к музыке речи замечательно умел он доносить до слушателей и смысл каждой вещи.

Не единожды он, с глазу на глаз, признавался мне, что, внимательнейшим образом изучив мои стихи, вдруг отчетливо понял: все, что он сам хотел бы сделать в поэзии, я уже сделал. Считал он меня гениальным поэтом, самым значительным в Москве, — и прилюдно, постоянно, сознательно, так, чтобы его слова укоренились в сознании петербуржцев, доказательно, убежденно, так, как он умел это делать, высказывал это свое незыблемое мнение, чем, естественно, то и дело ставил меня в неловкое положение. Когда я однажды заметил ему, что лучше бы сбавить тон, Костя недоуменно посмотрел на меня и твердо, решительно, словно раз и навсегда высказавшись, узаконив свое суждение, неожиданно громко, еще и взмахнув при этом, этак по-царски, рукой и взглянув мне в глаза, отрезал:

— Но так ведь и есть!

В современной неофициальной поэзии выказывал он поразительную осведомленность. Откуда было это у него? Тогда я только удивлялся. Теперь же, по прошествии стольких лет, кажется, понимаю. Он жил — культурой. Отечественной. Единой. Все ее проявления, частности — он обобщал, осмысливал, включал в круг этой культуры. Он жил — в нашей речи. Ее развитие, движение — вот что было крайне важно для него, вот что его всегда всерьез интересовало. Поэзия, особенно поэзия новейшая — это во многом и камертонное звучание речи. За ним, этим новым звучанием, если оно подлинное, начинается потом и музыка, тоже подлинная. Костя видел движение поэзии, верил в ее развитие. Отсюда — потребность в ее изучении. Отсюда — глубокое знание ее. Я уверен, что со временем стал он себя ощущать человеком, держащим в руках многие нити. От него тянулись эти нити — к стихам. Человек вообще необычный, был он еще и таким добрым, знающим свое дело магом. Он и слушал стихи, и читал их. Изучал. Осмысливал. Жил — внутри речевого круга. Ему доступны были малейшие градации, тончайшие нюансы, параллели, сближения, парадоксы, ходы, открытия — в том, что было в кругу поэзии. Жил он в мире, который был ему очень дорог. В мире, где он ощущал себя исследователем, путешественником, хранителем разного рода тайн, открывателем неких закономерностей, комментатором уже созданного, предсказателем того, что непременно должно произойти, очевидцем того, что было, что создавалось огромным числом пишущих стихи людей на немало — теперь уже так! — историческом отрезке времени. Времени — творения. Стихов. А значит — новых миров. Появ-

ления звезд и созвездий. Времени — неустанного строения речи. Продолжения речи. Сохранения стихии речи.

Наверняка это помогло ему при составлении знаменитой антологии «Голубая лагуна», уже в эмиграции. Без его антологии, как ни крути, уже не обойтись ни одному исследователю литературы. Вот что значит — жить в речи.

К нему, человеку радушному, внимательному, отзывчивому, приветствующему любые интересные начинания, искренне радующемуся своим новым открытиям, отовсюду съезжались и сходились люди, знакомые и малознакомые.

Костя всех принимал. Всех выслушивал. Всем был открыт.

Сидел на тахте, в полураспахнутом старом красном халате, небрежно накинутом прямо на голое тело, нечесаный, с острым взором, кривящимися в тонкой улыбочке губами, дымил сигаретой — и говорил, говорил.

О чем? Да о чем угодно.

Слушали его с раскрытыми ртами. Эти раскрытые в изумлении рты можно, пожалуй, графически выразить сплошным, непрерывным:

— О-о-о-о!

Как-то между делом, словно в промежутках между монологами и беседами, собирал он разные тексты.

Бродского перепечатывала ему Юлия Вознесенская, худенькая, узкая, легкая как перышко. Юлины тюрьмы и диссидентские подвиги были еще впереди. Тогда о них и помыслить-то никто не мог. Симпатичная, остроносенькая питерская дама. Тридцати двух годочков. Блокадница. И вот это уже говорило о чем-то серьезном. Приглядевшись к ней, можно было увидеть, что Юлия — с характером, да еще и с каким! Более того, была в ней воля. Женщина замужняя, хлопот своих вроде бы предостаточно. Дети растут. Семья. Живи, казалось бы, как все. Чего ей не хватало? А вот и не хватало. Начало семидесятых стало для нее гранью, за которой вскоре началась иная жизнь. Отнюдь не благополучная. Драматичная. Напряженная. Она чувствовала ее впереди. Она тянулась к ней. Нет, она сама шла к ней навстречу. И даже рвалась к ней, может быть еще не вполне осознавая это, но было именно так. И ее семья, ее прежняя жизнь уже начинали от нее отдаляться. Она словно готовила себя к решительному шагу — в свое, особенное, будущее. Она была — на самой грани своей собственной новизны, жизненной и творческой. Поэтому она и стремилась лишний раз вырваться к нам. Поэтому она и рада была сделать что-нибудь полезное, хорошее, ну хотя бы перепечатать стихи. Ей самой уже важно было — реализоваться. Мы дружили с ней. И я понимал, что способна она на решительные, даже на из ряда вон выходящие поступки. В ней, несмотря на ее хрупкость, была внутренняя собранность. Помню, как она рассказывала о своей родственнице, заболевшей во время ленинградской блокады и оставшейся в одиночестве, без всякой помощи, — эта измученная женщина с трудом принесла в квартиру ведро воды, поставила его рядом с собой, чтобы иногда пить, и просто легла, твердо решив победить болезнь, и лежала, совершенно одна, очень долго, без еды, лишь изредка делая глоток воды, и стойко переносила голод и боль, веря в то, что она выживет, выздоровеет, — и выжила, и выздоровела, встала на ноги, и от болезни ее и следа не осталось. Вот и Юлия могла бы вполне поступить, при необходимости, так же решительно. Юлия была — не с загадкой, а с тайной. Была в ней — способность к действию. Была в ней — та воля к жизни, которая наверняка все грядущие испытания пройти ей помогла. Ну и, конечно, была в те далекие годы Юлия — хорошим другом. Довериться ей и положиться на нее можно было без разговоров. Муж в итоге приревновал ее к нашей компании — и грохнул машинку, на которой работала Юлия,

этак эффектно, демонстративно, с вызовом, об пол. Но Юлия упрямо, будто ничего особенного и не произошло и никаких семейных скандалов с разбитием драгоценной печатной техники вовсе не было, столь же тесно, как и прежде, продолжала с нами общаться, — ей в нашем кругу было всегда интересно.

Фотографы со всего Ленинграда несли Кузьминскому всякие нужные для него снимки, а то и снимали нас прямо на месте. Налетят, бывало, целой стайкой — и давай щелкать своими аппаратами. И сообразить еще толком ничего не успеешь, а у них уже и фотографии готовы. Причем всегда хорошие, мастерски сделанные. Где-нибудь, у кого-нибудь есть они, полагаю. Что-то да сохранилось. Быть не могло иначе. Только вот где искать их, я до сих пор не знаю. Сами небось найдутся. В нужное время, в свой час — возникнут. Сами придут. Из молодости. Из лета. Питерского. Небывалого. Выглянут из-за грани — пространственной, временной. И посмотрят на нас тогда с фотографий этих давнишних наши лица — и даже, может быть, я услышу в яви сегодняшней наши прежние голоса.

Костя заботился о том, чтобы ничего не пропало, чтобы все было на виду, было учтено, зафиксировано, внесено в некую сокровищницу культуры, в своеобразное хранилище, которое, судя по всему, он вполне отчетливо себе представлял и сам, прежде всего лично, вдохновляя и других и с помощью этих многих других, совершенно трезво, сознательно, руководствуясь, видно, подсказанной свыше идеей и ведомый своим небывалым чутьем, день за днем, год за годом, несмотря на немалые трудности, на житейские сложности, на условия, чисто питерские, по-советски кондовые, с перегибом всегдашним, режимные, вопреки всему, что мешало ему, превращающий слово в дело, создавал, весь в трудах своих благородных, на глазах у всех создавал.

Он потащил меня к некоему известному собирателю записей, где уговорил читать. Грузный, шкафообразный хозяин домашней студии, фамилия которого была Крыжановский, а дружеское прозвище — Крыж, долго, сосредоточенно, причем не как обычный любитель, а грамотно, профессионально записывал мое чтение на тумбообразный магнитофон с бобинами в колесо величиной. Бобины вращались, наматывая пленку. Крыжановский кругами ходил вокруг своего записывающего агрегата, что-то непрерывно подстраивал, подкручивал. Я читал и читал. Было жарко. Пот уже лил с меня градом. Я устал. Но Костя с Крыжановским заранее позаботились о том, чтобы силы были при мне. Широким жестом на стол были выставлены разнообразные бутылки с вином и с пивом. И мы, втроем, разумеется, приложились к ним. И снова Кузьминский призывал меня читать. И я читал, по обыкновению тогдашнему, что вспомнится, что в голову придет, стихи свои. Получилась, как позже выяснилось, достаточно большая ретроспектива. Костя был очень доволен: голос мой записали. В конце восьмидесятых, купив пластинки с песнями и романсами в исполнении Валеры Агафонова, я прочитал на конвертах, что записи — из собрания Крыжановского. Небось и моя большая запись лета семьдесят второго у него сохранилась. Припоминаю, что Костя в своих письмах из Америки тогда же, в конце восьмидесятых, когда мы с ним переписывались, выражал желание пленку с записью чтения давнего моего как-то заполучить. Что на это сказать? Не искать же мне Крыжановского! Если цела эта запись — то и хорошо. Лишний раз Ворошилова вспоминаю, с его присказкой «Прорастет!».

Костя поощрял любое интересное начинание.

Говорил мне не раз: какие мы молодцы, что вовремя, именно вовремя, придумали свой СМОГ. Все, что имело хотя бы малейшее отношение к СМОГУ, интересовало

его чрезвычайно. Приходилось мне кое-что рассказывать. Хотя бы вкратце. Костя все запоминал.

Он старался разобраться в том, что сделал в поэзии Губанов. Поскольку я помнил наизусть многие ранние Ленины стихи, то иногда, под настроение, читал их ему. Косте достаточно было услышать их единственный раз, чтобы запомнить навсегда.

Очень ценил он и стихи Величанского. Саша частенько приезжал в Питер и с Костей был хорошо знаком. Он устраивал там свои чтения. Помню одно из них, тем же летом. Величанский вдруг появился на питерских улицах, по которым двигался он, по привычке, стремительно, — и вот уже собрался народ в чьей-то квартире, может — у Пети Шушпанова, может — еще у кого, благо приятелей и знакомых было там предостаточно. И Саша читал. Целую книгу. Новую. Читая, отбивал ритм ногами. И даже иногда руками. Прямо по табуретке. Получалось невольное своеобразное музыкальное сопровождение, вроде как на ударных инструментах. Саша был выпивши, и даже крепко выпивши. Но чтению его это совершенно не мешало. Наоборот, поддерживало. Как горячее. Читал Саша долго. Слушали его с удовольствием. Его здесь тоже любили. А вот когда прочитал он всю свою новую книгу, тогда все собравшиеся и выпили. С размахом. Основательно. Так, как тогда умели. Так, как считали нужным. Традиция, что поделаешь! А тут еще — и Величанский. Со стихами новыми. В Питере. Почему же не выпить за это? Саша, столь же стремительно, как и появился, уехал. Но самиздатовскую перепечатку стихов своих — оставил. И вскоре Костя все это хорошо знал.

Шемякин написал с Кости портрет, который висел над головами: поэт в своем красном халате, бородатый, кудлатый, жестикулирующий, вдохновенный.

Костя, принимая своих бесчисленных гостей, сидел обычно под этим портретом, именно в том красном халате, в котором и был изображен, в такой же позе, на старой тахте.

От этого возникала странная двойственность, даже зеркальность.

У некоторых, особенно у тех, кто был выпивши, образ Костин сразу же начинал двоиться.

Поднимут они глаза повыше — на стене сидит Кузьминский.

Опустят они глаза пониже — на тахте сидит Кузьминский. Доходило у них и до головокружения.

Забывали они сообразить, что на портрете Костя молчал, а говорил — не нарисованный, а живой, ну, в красном халате, бородатый, кудлатый, в своей привычной позе, отчасти изогнувшись, вьюном, но тут же распрямляясь, и слова его — вот они, раздаются, и всем слышны, и его даже можно потрогать и убедиться, что это он и есть, собственной персоной, и не раздвоился.

Но воображение и склонность к повальной питерской, гофмановского толка, мистике свое дело делали, и выпившие посетители оставались при своих видениях, в которых раздвоившийся Костя поселился уже надолго.

Все же прочие всегда отличали портрет от человека, живописный образ от образа реального, живого, хотя путаница все равно возникала и кое-кого пугала.

Наиболее стойкие гости к ней давно успели привыкнуть.

Но даже им порою мерещилось, что Кузьминский то с портрета с ними говорит и при этом туда, в портрет, входит, а то с тахты говорит и при этом из портрета выходит.

И такая загвоздка превращалась в загадку, и некогда, если на то пошло, да и незачем, если по-честному, было ее разгадывать — с нею все-таки жить интересней.

Больше, чем о себе, Костя заботился о товарищах.

Кого-то пристраивал куда-то, кому-то помогал.

Составил антологию пяти ленинградских поэтов (Бродский, Кушнер, Горбовский, Соснора, Кузьминский), чтобы не выглядеть единоличником, хотя ему предлагали издать собственную книгу, и уговорил знакомую западную даму издать именно антологию, что и было сделано.

Стихи Костины были раскрепощенными, фонетически насыщенными. Образчик его более реалистичного письма — текст «Туман», на который написана музыка, вроде Клячкиным, с успехом исполнявшим эту песню.

Костин шрам на животе — история темная, отдающая Достоевщиной. Говорить об этом он не любил. Только однажды, изрядно выпив, начал вдруг рассказывать, разволновался, побледнел, словно воочию вновь увидел нечто настолько жуткое, что и выразить сложно, а потом спохватился, сдержался, пересилил себя, перевел разговор на другое. А потом совсем замолчал. Замкнулся в себе, задумался. Довольно долго сидел не просто сжавшись, а как-то в комок молчаливый сжавшись, уйдя на время в себя. И только позже, переборов это мучившее не случайно воспоминание, собрался внутренне, встряхнулся, стряхнул с себя свое наваждение и снова стал тем Кузьминским, компанейским, блистательным, энергичным и вдохновенным, к которому все привыкли.

Насколько помню, его жестоко избили. Он выжил. Чудом? Возможно. Думаю, потому еще, что был он, конечно, призван — сделать в жизни своей то, что никто другой за него никогда не сумел бы сделать. Судьба? Безусловно, судьба.

Избиение Костино было хорошо подготовлено. Его не просто били. Его — убивали. Слава богу, что все обошлось. Перемучился, переболел, но остался в живых. Это главное. Само собой подразумевалось, кто именно это сделал.

Жил Костя возле Новой Голландии.

Место было относительно тихое: шелестела листва, плескалась вода в канале, под мостиками шастали крысы.

Иногда забредали сюда влюбленные парочки, ходили или стояли, обнявшись, шепчась о чем-то своем, глядя то на отражения проплывающих облаков неподалеку, в воде, то на листья над их головами, то на крыс, все равно им было, потому что куда важнее всего, что могли они видеть, была для них их любовь.

Иногда возникали здесь некие странные тени, которые двигались не прямо, а по кривой, зигзагами, кренделями и при ближайшем рассмотрении оказывались просто-напросто очумевшими от жары и регулярных возлияний местными алкашами.

Как-то зашел сюда человек, с виду не питерский, а приезжий, и хотел он выйти к Гавани и всех прохожих расспрашивал, как туда ему попасть, а искал он дом, в котором жил Блок и на котором не было тогда никакой мемориальной доски, и никто, к сожалению, толком не мог объяснить, как ему добраться до цели, и он, махнув рукой, пошел наугад куда-то, вздыхая и бормоча: «Где эта улица, где этот дом?..»

А милиции там не видал я ни разу.

В других местах города было представителей правопорядка с избытком, столько, что даже надоедало на них наткаться на каждом шагу.

Здесь же — ни одного.

Почему? Осталось загадкой.

Может быть, им, героям, нечего было здесь делать.

Может быть, место просто было заговоренным.

Не случайно ведь иногда вечерами, особенно к ночи, веял ветер странный, и слышался звук трубы призывный, и сразу же вдоль домов с раскрытыми окнами и рядов разомлевших деревьев проносились белесые призраки, и горячие кони ржали, и попытка конские цокали, хоть не видно было коней, но зато различим был смех, чаще —

женский, реже — мужской, и веселые восклицания, и взволнованные слова, по-французски и по-немецки, иногда и по-русски, и пели где-то в небе незримые скрипки, так, негромко, потом все тише, глуше, реже, и все смолкало, исчезало куда-то, — ночь петербургская приходила, шла хозяйкою полновластной всей округи, в наряде белом, с алой розою на груди — кто там ждал ее впереди?

Чем питался Кузьминский? Не так-то просто на этот вопрос ответить. Потому что за ним возникают и другие вопросы. А за ними встают и прочие. И число их весьма велико.

Похоже, питался он воздухом. Уж чего-чего, но воздуха в Питере было предостаточно. Пусть, с учетом летней поры и жестокой жары, был он не таким приятным и прохладным, как того хотелось бы. Пусть был он душным, тяжелым, пусть напоминал пар в бане, поскольку влажность оказывалась едва ли не первейшим его компонентом. Но его можно было глотать широко раскрытым ртом в любых дозах. Его из-за того, что избыточная влажность превращала его почти в воду, можно было даже пить. Следовательно, вполне мог он считаться и едой, и питьем. Но это, конечно, нагрузка. Воздух не был продуктом питания. Нужен он был — для дыхания. Как условие жизни. И все-таки, может быть, Костя умудрялся извлекать из него некие питательные частицы, полезные для него и помогавшие годами ему существовать?

Ленинградцы вообще едят мало. Почти в любом доме там, по части съестных припасов, туго. Ну, минимум какой-то имеется. Но не избыток. Так, чтобы пожевать, что подвернется, почти на ходу, чтобы наскоро перекусить. Вот чай или кофе — это всегда найдется. А куска хлеба можно и не найти. И тем не менее люди что-нибудь да едят.

Костя же не ел ничего. К еде выказывал он полнейшее равнодушие. Еда в его логове и не подразумевалась даже. Сколько помню его, никогда не выражал он желания позавтракать, пообедать или поужинать. Он обходился без пищи. Сигареты были, и дым табачный вечно переполнял его комнату, и когда приходили гости, а они приходили всегда, то клубящиеся космы дыма превращались в облака, весьма плотные, в свою очередь постепенно превращающиеся в непроницаемую для взглядов смутную пелену. Чай, кажется, заваривали и пили, изредка. Но вот принесенные гостями напитки — водку, вино, пиво — да, это Костя употреблял с превеликой охотой. Может быть, этого ему вполне хватало для насыщения? Сомневаюсь.

Несколько раз, не выдержав, принимался я готовить еду. Хорошо помню, как сварил я на кухне здоровенную кастрюлю кулеша, накидав туда всякой всячины, по принципу: в желудке все перемешается, и получилось ведь вкусно, — и торжественно внес эту кастрюлищу в Костину комнату, и поставил на стол, а потом нашлись и тарелки, и ложки, и варево мое так вкусно пахло, что удержаться от того, чтобы его не отведать, было уже невозможно, — и первую тарелку, полную до краев, поставил я перед Костей. Вот тогда он нахваливал и ел, уже помногу, впрок. Но, будучи компанейским человеком, не забывал угощать и всех без исключения входящих к нему приятелей. Те тоже ели с удовольствием. Никто не отказывался. На поверку все питерцы были голодными. Ни кофе, ни чай, ни курево заменить нормальной еды не могли. Слух о подкормке богемного населения Северной Пальмиры в доме у Кузьминского мгновенно разнесся по всему городу. Желаящие покушать по-человечески рвались сюда с боем. Некоторые приходили по нахалке, без всякого звонка. Но таких было меньшинство. Петербуржцы, люди воспитанные, прежде всего звонили, выясняли, кормят ли здесь обедами, и только потом уже, получив разрешение, появлялись у Кости, вскоре после звонка, и тарелки с едой опустошали мгновенно. Молва о моих кулинарных талантах облетела всю богему и упрочилась в ней. Долго потом вспоминали некоторые могикане мою роскошную кормежку, состряпанную из чего Бог послал, в Костиной комнате жарким питерским летом семьдесят второго.

Жена его Эмма, которую все звали Мышкой, души в нем не чаяла. Миниатюрная, легонькая, верная, самоотверженная, на Костю она буквально дышала. Он был для нее — всем. Эмма все покорно терпела, со всем примирялась, со всем соглашалась, если это было приемлемо Костей, если это его устраивало, если было ему нужно. Влюбленно поглядывала на него, когда поэт был в ударе и потрясал своими рассказами восторженных слушателей. Всех гостей его привечала. Все его состояния принимала как должное. Включая и выпивонные, и похмельные. Ну и творческие, само собой. Была она и супругой, и нянькой, и другом, и мамочкой. Была она — всем на свете. Но еще и самой собой. Обаятельная, воспитанная, симпатичная — птичка ли? дама ли? — была она — скромность и преданность — удивительно хороша. Главным в жизни ее был Костя. Все прощала она ему. Все ценила она в нем — и ум, и талант. Все готова сделать была для поэта, любимого мужа, только жил бы он рядом с нею, да слова говорил ей хорошие, да гостей своих очаровывал, да писал бы свои стихи.

Как-то решили мы втроем погулять по набережной, подышать вечерком более прохладным воздухом.

Прогулка — дело нехитрое.

Но Косте захотелось это как-то театрально обставить.

Он натянул подаренные ему Шемякиным, перед самым отъездом кореша-художника в западные страны, навстречу грядущей, как верилось, мировой известности и оглушительной славе, слегка потертые, но еще достаточно крепкие, коричневого цвета, кожаные, разумеется, в поясе и в бедрах чрезмерно узкие, в обтяжку, но все же налезавшие на худого Костю, а внизу невероятно расклешенные, длинные, не только закрывающие полностью обувь, но и волочащиеся, с шуршанием и треском, по полу ли, по асфальту ли, по земле ли, да везде, где бы в них ни ходить, штаны.

Меня уговорил надеть тоже что-то поэкстравагантнее, хотя ничего лишнего из одежды у меня не было.

Когда я ему объяснил, что нечего, мол, мне, ну просто нечего на себя надеть — что есть, в том и хожу, — он призадумался.

Поразмыслил немного — и выдал мне, напрокат, еще одни штаны, и тоже шемякинские, такие же сверхдлинные и суперрасклешенные, на молнии, понятное дело, только уже не коричневого, а черного цвета, морщинистые какие-то, потрескавшиеся, штаны, которые и пришлось мне, чтобы не обижать Костю, натянуть на себя, благо и я в те годы был худ и носил брюки сорок четвертого размера.

Эмма нарядилась необыкновенной заморской птицей, разрисовала себе лицо.

Сколько слоев пудры, кремов, теней и губной помады легло на ее милое, кругленькое личико, трудно сказать.

Да только в тот миг, когда она появилась перед нами, мы с Костей одновременно ахнули: это было что-то поистине зазеркальное, этакая гремучая смесь, фантастическое соединение различных эпох, объединение в одно целое жеманницы из восемнадцатого века, провинциальной российской кокетки из девятнадцатого, парижской богемной особы со свободными нравами из начала двадцатого и совсем уже небывалой, неземной, залетевшей сюда из другой, наверно, галактики, с гипнотическим взором, с легким шагом, парящей, взлетающей над распаренным, жарким городом, странной дамы, гостьи из будущего.

Только собрались выходить из квартиры — появился поэт Володя Эрль.

Ему, по наитию, сразу же, Костей выдан был шапокляк.

И вот вышли мы на улицу вчетвером и двинулись не спеша к Неве, по всем статьям необычная компания, в которой выделялись похожий на государя Ивана (солидной

сказать — Иоанна) Грозного Кузьминский, стучащий внушительным, прямо с известной картины Репина сошедшим, в десницу поэта с почтением вложенным посохом и шелестящий по асфальту штанами-клешами, шествующий под руку с разряженной в пух и прах Эммой-Мышкой, и особняком вышагивающий, словно появившийся из андерсеновской сказки или из гофмановской повести, из чего-то сразу и сказочного и кошмарного, худющий, чопорный, рыжий Эрль в шапоκляке.

Видавшие виды ленинградские прохожие все как один оглядывались на нас, и вдруг застыли на месте, и долго потом стояли, озадаченно, в оцепенении, словно всех их заморозили, бесконечными, уходящими в перспективу лета и города шеренгами и рядами, а Кузьминский, шествуя в образе особы, уж точно, царственной, благосклонно им улыбался, иногда кивал им кудлатой, бородатой своей головою — и задумчиво, снисходительно, перехватывая для этого свой посох левой рукой и вздымая правую руку, крестил их, вконец потрясенных увиденным, отчего в небе, медном от зноя, обозначился вскоре отчетливо, наврное, от движений руки поэта, растущий в пространстве и уходящий сквозь время лучистый крест...

В августе поехал я с Костей и Эммой, вместе с сотрудниками научно-исследовательского института, где работала Эмма, в деревню Шамокшу, находящуюся севернее Ленинграда, в лесной глуши, за Лодейным Полем, неподалеку от реки Свири.

Должны были помогать колхозникам в сельскохозяйственных работах.

А пришлось — тушить лесные пожары.

И приключений там было столько, что лучше рассказать об этом как-нибудь потом.

Обо всем, что связано с нашей августовской поездкой в деревеньку северной Питера, и не только об этом, но и о многом другом, читайте сами в моей давней, посвященной Косте Кузьминскому, вошедшей в книгу «Отзвуки праздников» хронике «Шамокша».

(Вспоминаю порой эту Шамокшу.

Как сейчас, ее вижу: вот она! — деревянный, древесный, облачный, травяной, торфяной, замшелый, диковатый оплот свободы, а вернее — воли, приволья, широты, глубины дремучей, высоты, за которой — звезды, красоты, для которой — песни, чистоты, у которой души и сердца молодые наши в високосном году гостили, — остров дальний, укром, покой.

Помню, помню зарю скитаний, помню лето, блаженное, может быть, ну а может, и запредельное, уж во всяком случае — странное, помню дни в июле и в августе и сентябрьские влажные дни, когда жил я, зачем — не знаю, нет, пожалуй — знаю: судьба меня привела сюда, — в Ленинграде.

И жилье мое было — случайным, в высшей степени — алогичным, как обычно — неопределенным, потому что я кочевал, ночевал где придется, бродяжничал, шел туда, куда звали, — а зван был я всею богемой питерской.

Конец июля пришелся на квартиру Кости Кузьминского. Поэт и хранитель стихов приютил меня у себя, по тогдашним меркам — надолго. У него написаны некоторые мои вещи. В его комнате-берлоге чтения стихов и знакомства перемежались, да так, что в итоге все это сплелось в единый звучащий, состоящий из тысячи нитей, речевой и, конечно же, зрительный, пестрый клубок — или, это намного точнее, сияющий энергетический шар.

Это к нему, к Косте, в его арку, над которой красовалась всему Питеру известная надпись «Парикмахерская», прямо под слог «хер», на что, разъясняя кому-нибудь, как его разыскать, непременно указывал, фыркая в телефонную трубку, бородатый, лох-

матый хозяин в красном своем халате, в его двор, а потом и в подъезд, а потом и в знакомую дверь, чтоб скорей оказаться внутри, в распрекрасной дружеской комнате, то-ропился я, после вылазок в город, спасаясь от невероятной для этих широт жары, и там действительно было чуть прохладнее, а самое главное — на душе поспокойнее.

Я успел зарости бородою, и она рыжела, кудрявилась, — и Кузьминский, этак умильно, называл меня Винни-Пухом или, коротко, просто Пухом, потому что, видать, с бородою моей гармонировал мохнатый коричневый пуловер, который я прихватил с собой — и, как оказалось, не напрасно, потому что очень он пригодился осенью.

Я сдружился с Костей мгновенно. Говорили мы целыми сутками, и всегда — с неизменной пользой для себя и для прочих гостей.

Помню, как неохотно собиралась Эмма, Костина жена, ехать со своей организацией «Ленпроект» на работы в колхоз. Когда же она вдруг предложила нам ехать вместе с ней, и мы сразу же согласились, она прямо на глазах у нас воспрянула и расцвела.

1 августа мы выехали — веселой компанией в большом автобусе — из раскаленного города.

Поэму — если эту композицию можно так назвать — писал я позже, в семьдесят третьем году. Выразил по возможности, насколько воспринял, свое ощущение Ленинграда летом и Севера, который мне, человеку южному, был внове.

А деревенька оказалась на поверку — славной.

И вещь моя — действительно хроника.

Было несколько изб — улица.

Была речушка Шамокша, впадающая в Свирь.

В Шамокше, холодной, с запрудами и ключами, купались мы постоянно — спасались от жары и просто закалялись.

Водился в ней этакий червяк, весьма опасный, называемый «конским волосом». Он способен был, проникнув через поры в коже прямо в вены, поселиться там и питаться кровью, от чего животные хирели, хворали. Случалось, что заболели и люди. Бывают ведь такие создания природы! Я и сам, чуть зазевавшись, задержавшись буквально на минуту в воде, вытаскивал, бывало, из ноги уже присосавшегося, юркого, верткого, скользкого червячка, с виду действительно напоминавшего толстый волосок. Спасение от него было — в движении.

Широкую реку Свирь переплыл я ночью туда и обратно. Течение, неожиданно мощное, сносило меня далеко в сторону, но я был упрям и боролся с ним. Посверкивая бортовыми огнями, шли, никуда особо не торопясь, мимо меня речные суда. На берегу мы жгли костры. Вот я и ориентировался — на свет вдали, на пламя костра. И все обошлось. Доплыл. Сам себе лишний раз доказал, что способен совершать поступки.

Были там, на колхозных работах, интересные люди — архитекторы, художники; были увлекательные разговоры, всякие полезные наблюдения.

Был густой, настоящий, дремучий, уходящий на все четыре стороны света лес, видение смутное, с вековыми деревьями, со стволами замшелыми, с отчужденно молчаливыми, дикими чащами, с полянами, солнцем залитыми, с ознобом в тени, с диковинами, впервые мне открывающимися, с тропинками, вкось уходящими куда-то, с грибами и ягодами.

Было огромное, поперек себя шире, поле, где сельские люди, привычные к трудам подобного рода, будто стольный град возводили с небывало высокими башнями, с прибаутками, шутками, песнями, быстро, дружно, умело, споро воздвигали большие стога.

Потом оно, это поле, как-то сразу вдруг загорелось, и три дня мы тушили, отчаянно, упорно, целенаправленно, уж как умели, как получалось, и все же, как мне теперь думается, обреченно как-то, понимая, конечно, ну хотя бы догадываясь, что напрас-

но мы все это делаем, но зато и на каком порыве, с каким подъемом тушили невероятный пожар, начавшийся оттого, что медленно тлеющие где-то там, неглубоко, под слоем почвы и травы, торфяники, находившиеся повсюду, словно прорвало изнутри, огонь вырвался наружу, все в округе тут же воспламенилось — и все совершенно так и сгорело.

Помню, как на попутных машинах, с наспех вымытыми бидонами из-под молока, съездили мы в Лодейное Поле, в первом попавшемся магазинчике наполнили свои бидоны бормотухой, дешевым, ужасным по своему качеству пойлом, вроде крепленого вина, для крепости настоящим еще, как поговаривали, на махорке, — и с этой-то бормотухой, приобретенной для поддержания боевого духа, ринулись поскорее обратно, тушить пожар.

Шли цепью, махали ветками, сбивая пламя, да все это оказывалось бесполезным. Оглянешься назад — а пламя уже там, сзади, за тобой, втихаря подкрадывается, а то и рывками, стремительно, особенно на ветру, обдавая зловещим жаром, настигает неожиданно тебя. Невесело приходилось. Отхлебнешь несколько глотков бормотухи прямо из крышечки бидона или из жестяной кружки, если у кого-нибудь таковая оказывалась, — и снова вперед, в бой с огнем. Так вот и сражались со стихией.

Жили в избе, вроде как на втором этаже, высоко над землей — так уж устроены были здесь избы. На ночлег приходилось подниматься по шаткой, скрипучей лесенке. А под нами, внизу, раздавалось мычание и поднимались кверху бьющие в нос, характерные запахи — там жила корова хозяйская.

Пили замечательное молоко на ферме. Иногда, при случае, добирались туда на подводе. Но чаще — ходили пешком.

Варили еду, какая уж была. Сами себе готовили. Пригодились и мои кулинарные способности. Кипятили воду на огне, заваривали чай, попивали его не спеша.

Некоторые ездили на лошадях. Например, Костя Кузьминский, поначалу выглядевший лихим наездником и хорохорившийся перед нами, но сразу же отбивший себе зад — и потом лежавший в избе и охавший. И ничего, все обошлось благополучно, и он довольно скоро поднялся.

Неподалеку, где-то за лесами, будоражила высоты грохотом выстрелов некая скрытая в глухомани воинская часть, и всех это раздражало, и все возмущались и гадали, что же это за безобразие такое, как нарочно, затянувшееся и ни на час не прекращающееся, но потом к регулярной стрельбе привыкли и перестали ее замечать.

Можжевельник, ели, черника, брусника, голубика, разнообразные грибы, чудесная вода ключевая.

Вдосталь было чудес в округе.

Что ни шаг — откровение.

Что ни миг — изумление.

К одному ключу — ходили специально, чтобы почувствовать истинный вкус настоящей, природной воды.

Шамокша, одним словом...)

А потом — наеда на торфяная, лесная, с пожарами, с беспредельными далями, ягодная, обомшелая, сельская глушь. И вернулись мы с Костей в Питер.

И опять закипела жизнь — городская, богемная, жаркая, с бесконечностью, связанной в узел, наподобие восьмерки, словно все мы забыли на время, что она не шнурок, а знак.